СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 7

I. ЛОГИКА ФРАГМЕНТАЦИИ 26

КУЛЬТ КРЕАТИВНОГО БЕЗДЕЛЬНИКА 27

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТРУД 33

ВОССТАНИЕ ЭЛИТ 38

БУНТУЮЩАЯ ПЕРИФЕРИЯ 43

АДАПТАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 49

ФЕМИНИЗМ
И ДРУГИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ 59

ПОЛИТЭКОНОМИЯ МИГРАЦИИ 66

РАСКОЛ ЛЕВЫХ 79

«МЕНЬШЕЕ ЗЛО» 87

II. ЕВРОПА ПРОТИВ ЕВРОСОЮЗА 95

КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ КАТАСТРОФА
ПАРТИИ СИРИЗА 97

МАЛЕНЬКОЕ НЕМЕЦКОЕ
ПОТРЯСЕНИЕ 117

BREXIT 124

ВОССТАНИЕ ПРОТИВ ИНСТИТУТОВ 138

III. ЭРА ПОПУЛИЗМА 148

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАССОВОЙ ПОЛИТИКИ 149

ОПЫТ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 155

ФЕНОМЕН КОРБИНА 164

СИЛА И СЛАБОСТЬ ПОПУЛИЗМА 174

IV. УРОКИ АМЕРИКИ 179
ФЕНОМЕН САНДЕРСА 179
ЦЕНА КОЛЕБАНИЙ 189
ПОСЛЕ ФИЛАДЕЛЬФИИ 191
ЖЕСТОКИЙ РЕВАНШ
АМЕРИКАНСКОГО РАБОЧЕГО КЛАССА 197
ЛЕВЫЕ ПРОТИВ РАБОЧИХ 204
ПРОТИВОРЕЧИЯ ТРАМПА 208

V. ФРАНЦИЯ:
ОТ РЕСПУБЛИКИ К ОЛИГАРХИИ 216
ИГРА В СОПРОТИВЛЕНИЕ 216
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ 220
ВОСХОЖДЕНИЕ МАРИН ЛЕ ПЕН 225
КРИЗИС СИСТЕМНЫХ ПАРТИЙ. 230
РЕВАНШ ИСТЕБЛИШМЕНТА 233

VI. НЕРАЗУМНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 240
СТАБИЛЬНОСТЬ И ПРОТЕСТЫ 241
УКРАИНСКОЕ ПОТРЯСЕНИЕ 244
УКРАИНА И РАСКОЛ ЛЕВЫХ 250
ЭФФЕКТ НАВАЛЬНОГО 255

VII. ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС МЫСЛИ,
ЧТОБЫ НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ 259
НОВАЯ ПОЛИТИКА
ДЛЯ МЕНЯЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ 260
ОТ ПОПУЛИЗМА
К НОВОМУ ИСТОРИЧЕСКОМУ БЛОКУ. 264
ПУТЬ ПЕРЕМЕН 268

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 273

ВВЕДЕНИЕ

В конце 2007 г. череда финансовых кризисов дестабилизировала экономику Соединенных Штатов. После того как обанкротился банк Lehman Brothers, один из пяти крупнейших в Америке, на биржах началась паника, подобная той, что знаменовала начало Великой депрессии в 1929 г. Как и положено, рецессия в Америке дала старт аналогичным неприятностям по всей планете. В 2008 г. спад производства охватил основные регионы мировой экономики, за исключением лишь Китая и нескольких стран Восточной Азии, сохранявших инерцию роста. На первых порах казалось, что сценарий Великой депрессии повторяется. Но к лету 2009 г. ситуация на рынках стабилизировалась. Добиться этого удалось за счет активного государственного вмешательства: правительство и Федеральная резервная система США предоставили банкам триллионы долларов для закрытия текущих обязательств и предотвращения дальнейших банкротств. Продолжая заявлять о верности принципам частного предпринимательства и свободного рынка, правительства ведущих стран активно прибегали к национализации. Китай развернул беспрецедентную программу строительства инфраструктуры и новых городов. По дорогам, которые были проложены в рамках этой программы, никто не ездил, а в городах, построенных ради освоения выделенных средств, никто не жил, но подобные отчаянные меры позволили повысить мировой спрос. Поскольку к 2010 г. обвальный спад прекратился, а мировая и американская экономика начали показывать рост, пусть и очень слабый, эксперты и политики поспешили заявить об окончании кризиса. Произошедшие неприятности окрестили *Великой рецессией*, тем самым давая понять, что речь шла пусть и об очень драматичных, но краткосрочных событиях, по сути, не выходящих за рамки стандартного рыночного цикла.

Между тем кризис был еще очень далек от завершения.

Молдавский историк и политический деятель Марк Ткачук писал в 2015 г., что хотя произошедшие события полностью дискредитировали господствующие парадигмы либерально-буржуазного сознания, еще недавно казавшиеся очевидными и не-

зыблемыми, не было никакого основания говорить о торжестве какой-то новой идеологии или парадигмы развития. «И мы видим пока единственную и совершенно предсказуемую реакцию на этот исторический вызов. Эта реакция обнаруживает себя в облике консервативных поисков былого величия, попытках отгородиться, изолироваться, спрятаться от реальности, найти убежище в рукотворной реконструкции всего того, чего никогда не было — радикального ислама, православного фундаментализма, общеевропейской ментальности, вечного конфликта Запада и Востока, Юга и Севера»[1].

Несмотря на то что подтвердились с предельной точностью все предсказания и предостережения критиков неолиберального экономического порядка, «нет никаких оснований утверждать, что пережитый недавно кризис видоизменил существующие глобальные стратегии. Правящие элиты по-своему легко адаптировались к существующему положению вещей и безоглядно сделали шаг навстречу тому построенному миру, который, как выяснилось, не только оказался не *нашим*, но еще и не *новым*»[2].

Меры по стабилизации кризиса, предпринятые правящими элитами, превратили резкий спад в затяжную деградацию, создав так называемую новую нормальность, когда даже на уровне обывательского сознания возникло предчувствие, что если сегодня хуже, чем вчера, то завтра будет хуже, чем сегодня. Кризис изменил свою форму, перешел на новый уровень, к новому этапу. Систематически проводимая политика спасения государством частных банков и компаний привела лишь к тому, что кризис корпоративных финансов сменился кризисом бюджетного дефицита правительств. В свою очередь, государственные органы не находили иного способа стабилизировать свое финансовое положение, кроме как проводя меры жесткой экономии за счет большинства трудящихся. Таким образом происходило радикальное перераспределение средств от среднего класса и низов общества к корпоративным и финансовым элитам. Кризис экономический стабилизировался за счет возникновения предпосылок для кризисов социальных и политических.

[1] *Ткачук М.* Грядущее прошлое. Три эссе о рождении, гибели и надежде. Кишинев: Stratum plus, 2015. С. 249.

[2] Там же. С. 211.

В условиях глобализации финансовые центры оказались способны эффективно перемещать свои проблемы на периферию, что, в свою очередь, привело к тому, что более слабые и более зависимые страны погрузились в глубочайшую депрессию, усугубляемую прогрессирующим долговым кризисом. Причем это относилось не только ко «внешней периферии» Запада (бывшим колониальным и зависимым странам, получившим в 1960-е годы название «третьего мира»), но и к «внутренней периферии» Европейского союза — государствам, с запозданием интегрированным в этот клуб развитых стран. Страны Южной Европы и Ирландия, которые еще за несколько лет до того приводились экспертами в качестве примеров успешного развития и модернизации, оказались на грани банкротства. Финансовая система Европейского союза, частью которой сделались эти страны, столкнулась с ситуацией перманентной турбулентности, когда краткосрочные меры по спасению той или иной страны лишь готовили новый виток финансовой нестабильности в самом ближайшем и хорошо предсказуемом будущем.

Зона единой европейской валюты, которая еще недавно была предметом гордости банкиров и бюрократов, превратилась в источник многочисленных проблем. С того самого момента, когда евро был введен в качестве общей денежной единицы для стран с весьма различной экономикой и социальными порядками, эксперты предупреждали, что подобная финансовая интеграция, хоть и будет стимулировать на первых порах потребительский спрос (за счет более легкого доступа граждан относительно бедных стран к кредитам из стран более развитых), в конечном счете приведет к серьезной дестабилизации всей системы. Теперь эти пророчества самым радикальным образом сбывались. Для поддержания курса евро по отношению к доллару Европейский центральный банк вынужден был систематически душить экономику менее успешных стран, которые просто не могли свести концы с концами при искусственно низкой инфляции. В итоге те, кто и раньше отставали от лидеров европейской интеграции, были отброшены еще дальше назад безо всяких шансов догнать своих более удачливых партнеров. В свою очередь, трудности, которые испытывал Европейский союз, толкали его политических и деловых руководителей на путь внешней экспансии, что очень быстро привело к столкновению с Россией.

В начале 2000-х годов Москва не мыслила иной внешней политики, кроме как основанной на партнерстве с европейским Западом, в котором видели не только экономического партнера и потребителя сырья, но и противовес американской глобальной гегемонии. К середине 2010-х годов Россия и Европейский союз уже находились в жесткой конфронтации из-за борьбы за влияние на бывшие советские республики — Украину, Молдавию и Белоруссию.

Для российских правящих кругов конфронтация с Западом послужила великолепным способом объяснить нарастающие внутренние трудности, которые на самом деле были порождены господствующим экономическим и социальным порядком — общим и для нашей страны, и для Запада. Еще до 2014 г., когда разразился конфликт на Украине, трудности начали испытывать все ведущие незападные экономики — государства Латинской Америки, а затем Россия и Китай. Однако динамика развития кризиса была не равномерной и не синхронной. В итоге проблемы одних оборачивались успехом и ростом влияния других только для того, чтобы вскоре обнаружилось, насколько преждевременным было торжество.

Спад экономики США и Западной Европы в 2008–2010 гг., происходивший на фоне относительной стабильности в Китае, Индии и Бразилии, изменил глобальное соотношение сил, создав в этих государствах иллюзию возможности превращения в новые центры мировой капиталистической системы. Из-за мер по спасению и стимулированию банков, принимавшихся в Америке, финансовые рынки были наводнены долларами. Средства, предоставлявшиеся корпорациям, не достигали рядового американского потребителя и не стимулировали спрос. Они уходили на спекулятивный рынок и в заграничные инвестиции в страны, где прибыль можно было получить быстро. В итоге росли не только экономики Китая или Бразилии, но и цены на сырье. Спекулятивный ажиотаж на нефтяном рынке обеспечил искусственно высокие показатели экономического роста России, правящие круги которой восприняли это как доказательство собственного успеха.

Элиты России, Китая, Индии и Бразилии, преодолев первоначальную панику, вызванную событиями 2008 г., настроены были использовать кризис для пересмотра в свою пользу глобального баланса политических сил. Основание для таких надежд давали

не только сравнительно высокие (особенно на фоне стагнации Запада) темпы роста промышленности, но и масштабы производства, относительная стабильность валют и размеры рынков в этих странах, а также претензии на региональную гегемонию. Все перечисленные государства оставались региональными лидерами, обладающими значительным военным, политическим и интеллектуальным потенциалом. Западные журналисты объединили эти страны в единую группу БРИК: Бразилия, Россия, Индия, Китай. Позднее сюда же присовокупили и Южную Африку, после чего возникла новая аббревиатура — БРИКС (BRICS, где «S» for South Africa).

Лидеры перечисленных стран отнеслись к изобретению журналистов с крайней серьезностью, начав проводить многосторонние консультации, встречи на высшем уровне и запустив совместные проекты. Было принято решение организовать совместный банк и другие структуры, призванные в перспективе стать если не заменой, то во всяком случае дополнением к системе институтов, созданных Западом после Второй мировой войны. Однако несмотря на постоянно звучавшую критику существующего мирового порядка, оставалось совершенно неясным, чем этот порядок должен быть заменен, на каких основаниях реформирован. Подобное противоречие являлось совершенно закономерным следствием положения самих правящих классов и господствующих элит БРИКС. С одной стороны, они стремились повысить свой статус в глобальной системе, но с другой — сами являлись порождением и частью этой системы, а их политика по отношению к собственному народу, методы накопления и использования капиталов, как и способы поддержания власти отнюдь не были альтернативными по отношению к порядкам, насаждавшимся по всему миру в ходе неолиберальных реформ.

Надежды на то, что страны БРИКС станут новым коллективным локомотивом, а возможно, и гегемоном мировой экономики, вытаскивающим ее на новую траекторию роста, сохранялись вплоть до конца 2014 г., когда новая волна кризиса накрыла и их. Валюты всех этих стран начали испытывать растущие трудности и обесцениваться, закрывались предприятия, сокращалось потребление. Глобальный кризис не удавалось преодолеть. Все предпринимаемые меры приводили к тому, что он лишь перемещался из одной мировой экономической зоны в другую.

Парадоксальным образом основной причиной подобной «живучести» и непреодолимости кризиса являлась стабильность политической и социальной системы ведущих стран мира. Несмотря на то что кризис был порожден исчерпанием возможностей экономического роста в рамках господствовавшей с 1990-х годов неолиберальной модели капитализма, политические и социальные институты были повсюду настолько прочны, что эффективно блокировали любые попытки содержательных перемен. Система продолжала воспроизводиться даже при том, что ее экономические и социальные основания уже были подорваны.

Другой вопрос, что каждый следующий цикл воспроизводства лишь усугублял кризис. Краткосрочные проблемы решались за счет увеличения социально-экономических диспропорций и усиления всех противоречий не только в долгосрочной, но даже и в среднесрочной перспективе. Поскольку теперь воспроизводство не могло быть устойчивым, для поддержания равновесия постоянно требовались дополнительные ресурсы. Их надо было откуда-то брать. В результате правящие круги реагировали на кризис политикой «жесткой экономии» (austerity), которая позволяла поддерживать воспроизводство крупного капитала за счет все более массового изъятия ресурсов у основных классов и слоев общества (включая и изрядную часть буржуазии). Одновременно возникает потребность в новой волне геополитической и геоэкономической экспансии для капиталов стран западного центра. В условиях, когда весь мир, за исключением только Кубы, Северной Кореи и болот тропической Африки, уже и без того был включен в систему глобального капитализма и жил по его правилам, экспансия могла разворачиваться лишь в форме «возвращения», «повторного прихода» (revisiting), когда страны, однажды уже подвергшиеся неолиберальной реконструкции, должны были пережить ее снова, в еще более жестких и радикальных формах. Ирландия, страны Южной и Восточной Европы, республики бывшего Советского Союза, ранее более или менее успешно вписавшиеся в мировую систему, столкнулись с растущим давлением, не только экономическим, но и политическим. При этом подрывались и отменялись те самые компромиссы и социальные механизмы, которые на предыдущем этапе делали сложившийся экономический порядок устойчивым.

Параллельно пересматривались и условия компромисса между локальными и глобальными элитами, правящими классами центра и периферии, когда ресурсы, ранее остававшиеся в распоряжении последних, теперь должны были поступить в распоряжение первых. На идеологическом уровне это выразилось в том, что западные правящие круги вдруг стали проявлять крайнюю озабоченность коррумпированностью и авторитаризмом периферийных правительств и олигархий. Политико-экономическая перестройка, которая позволила бы решить подобные проблемы, означала бы неминуемое замещение местных элит, сохранявших достаточно высокий уровень автономии, командами управленцев, непосредственно контролируемых международными институтами, транснациональными корпорациями и надгосударственными объединениями, самым заметным из которых являлся Европейский союз. В конечном счете подобный же подход начал все более доминировать и по отношению к самим западным странам, что, в свою очередь, породило новую волну недовольства и конфликтов.

Поскольку политические системы ведущих стран сохраняли стабильность, система начинала рушиться «по краям» в государствах со слабыми институтами — от Египта до Украины. Эти восстания и революции вдохновлялись совершенно различными идеями — от прогрессивных, демократических и левых до националистических и реакционных[3]. Однако общим для них было то, что в странах со слабой, зависимой экономикой, отсутствием собственных государственных традиций, неразвитой политической культурой и дезорганизованным обществом они не открывали перспективы для реализации новой модели развития, которая могла бы дать импульс переменам в остальном мире. Перевороты, восстания и революции делали разрушительную работу, но как только вставал вопрос о работе позитивной, созидательной, они терпели неудачу. В результате политические потрясения оборачивались наступлением реакции, когда, за редкими исключениями[4], новая власть (если ей вообще

[3] Анализ «первой волны» революций и восстаний, порожденных Великим кризисом, см.: *Кагарлицкий Б.* Неолиберализм и революция. СПб.: Полиграф, 2013. Термин «Великий кризис» здесь употребляется по аналогии с Великой депрессией.

[4] Единственным успешным результатом демократических попыток 2010–2012 гг. в арабском мире стала революция в Тунисе, где более или

удавалось укрепиться) оказывалась хуже старой. Политические и социальные отношения приходили в состояние хронической нестабильности, выйти из которой не удавалось, новая логика общественного воспроизводства не складывалась.

Не только угнетенные массы, но и значительные слои буржуазии начинали испытывать растущий стресс, перерастающий в потребность сопротивляться проводимой политике. Это сопротивление, по большей части непоследовательное и вынужденное, нарастало по всему миру. Если в 2014 г. зоной нестабильности и конфронтации были Греция и Украина, то в 2016 г. острые политические и социальные конфликты развернулись уже в Соединенных Штатах, Франции и Великобритании.

Великая рецессия была не более, чем эпизодом куда более масштабной и глубокой исторической драмы, значение и последствия которой могут быть не меньшими, чем это было в случае с событиями 1929–1932 гг. Происходящее можно назвать *Великим кризисом*.

В конечном счете именно стремление правящих элит ведущих стран любой ценой защитить неолиберальную модель капитализма, экономически подорванную кризисом после 2008 г., вело к постепенному, но неуклонному разрастанию политической нестабильности, превратившейся к концу 2016 г. в своего рода *глобальную революционную ситуацию*. Институты, препятствующие назревшим переменам, должны пасть не только потому, что превратились в тормоз развития общества, но и потому что, стремясь сохранить себя в неизменности, они лишь усугубляют кризис, подрывают базовые условия собственного существования и воспроизводства. Сохранение в неизменности политической системы повсеместно требовало мер, ведущих к дестабилизации социальных отношений, что, в свою очередь, сводило к минимуму шансы политической системы на выживание.

В такой обстановке политический кризис неминуемо принимал формы масштабного общественного потрясения, а вопрос

менее была скопирована французская политическая модель. В странах постсоветского пространства ситуация оказалась еще хуже — до тех пор, пока перемены не захватывали Россию, в равной степени обреченными оказывались и попытки установить националистический режим в Киеве, и борьба за социальное государство в противостоявшей ему Новороссии.

о том, готовы ли массы той или иной страны к подобному повороту событий, созрели ли там объективные и субъективные предпосылки для революционных перемен, уходил на второй план, поскольку общество за обществом, страна за страной втягивались в водоворот *глобального* кризиса — независимо от их воли и готовности к переменам. Однако ровно в той мере, в какой проявляла себя на мировом уровне *объективная* динамика распада неолиберальной модели, очевидной становилась и несостоятельность пресловутого *субъективного* фактора в лице левых и антикапиталистических движений, партий и организаций, унаследованных от предшествующего этапа развития капитализма. Проблема не сводилась ни к организационной слабости, ни к идейной отсталости, ни к «непопулярности» левых идей, дискредитированных поражением Советского Союза, сталинскими репрессиями или неудачами других социалистических проектов. Напротив, постоянные ссылки на все эти обстоятельства были не более чем удобным оправданием, скрывавшим куда более серьезную драму.

Отнюдь не отсутствие новых идей превращало левых в беспомощных наблюдателей разворачивавшегося вокруг них кризиса. Напротив, именно тогда, когда те или иные политики готовы были *всерьез* апеллировать к традиционным идеям и лозунгам рабочего и социалистического движения — от национализации до борьбы за социальное государство — они с невероятной быстротой достигали успеха, даже не имея прочной организационной базы, стремительно завоевывали себе сотни тысяч, а порой и миллионы новых сторонников. Так произошло с избранием Джереми Корбина лидером Лейбористской партии Великобритании или с внезапным превращением Берни Сандерса, никому не известного сенатора от штата Вермонт, в одного из ведущих политиков Америки. Но именно эти прорывы с особой остротой демонстрировали системную слабость левых, которые оказывались не готовы к новой ситуации, были растеряны и напуганы ею не меньше, а значительно больше представителей правящего класса.

За организационной и идейной слабостью скрывалась совершенно иная, куда более масштабная и трагическая проблема фатального разрыва между левыми и обществом, превращение левого политического и интеллектуального «класса» в органическую часть либерального проекта и безнадежная маргинали-

зация всех тех, кто не готов был или не пожелал в этот проект вписаться.

Политический режим, установившийся в развитых европейских странах и США, конечно, не является авторитарным, но не является и демократическим в том смысле, к какому общество привыкло на протяжении XX в. Его можно назвать *либеральной постдемократией*[5]. Фундаментальным принципом такого режима является открытое, а часто даже демонстративное, игнорирование общественного мнения и воли большинства при одновременном соблюдении всех формальностей и процедур демократии. В итоге игнорируемое и систематически унижаемое большинство то и дело оказывается вынуждено выражать свою волю и защищать свои интересы за пределами официальных демократических институтов, которые оказались приватизированы привилегированной группой политиков, лишь условно разделяемых на правых и левых. Политической основой этого порядка становится круговая порука буржуазных элит при негласном (а иногда и открытом) пособничестве левых, давно уже интегрированных в эту систему и коррумпированных ею.

По сути дела, демократический процесс превращается в спектакль-симуляцию, оформляющую результаты решений и компромиссов, достигнутых за пределами публичной сферы. Французский философ Ги Дебор еще в 1960-е годы писал про превращение демократии в «общество спектакля»[6], ссылаясь на растущую мощь телевидения и выветривание содержания из публичных дискуссий, но в те времена его образ был скорее гиперболой и предостережением, чем описанием реально происходящих процессов. Напротив, начиная со второй половины 1990-х годов, пророчество Дебора начинает сбываться самым трагическим образом — не только и не столько из-за растущей мощи массмедиа, сколько из-за того, что правящие круги сумели успешно интегрировать в свою систему бывших лидеров протеста, интеллектуалов, а зачастую и массовые организации трудящихся — партии и профсоюзы, превратив *реформистские*

[5] Термин «постдемократия» введен в оборот современных политических дискуссий Колином Краучем. См.: *Крауч К.* Постдемократия. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. (*Crouch C.* Post-democracy. Cambridge: Polity Press, 2005).

[6] *Дебор Г.* Общество спектакля. М.: Опустошитель, 2014.

структуры в *соглашательские*, и лишив социальные движения практической перспективы.

В такой ситуации даже организация протестов ритуализируется и обессмысливается, зачастую преследуя единственную цель «выпуска пара». Демонстрации и митинги, как и гневные статьи в прессе, по сути, превращаются в дополнительный метод легитимации принимаемых элитой решений, поскольку организаторы подобных акций не ставят перед собой задачи *практически* блокировать критикуемый ими процесс, а лишь выражают к нему «отношение», что сути происходящего никак не меняет. Пройдя по улицам с плакатами и воздушными шариками, толпы недовольного народа расходятся по домам, а организаторы шествия из числа интеллектуалов, политиков и профсоюзных лидеров возвращаются в свои офисы или идут заседать в парламентские комиссии вместе со своими «идейными противниками».

Акции протеста из средства массовой мобилизации на борьбу против политики элит превращаются в замену этой борьбы, в очередной спектакль, не предполагающий никаких последствий в общественной реальности. Никакой стратегии борьбы, никакой эскалации, никакого развития эти действия не достигают.

При таком положении дел несогласным просто «некуда идти», не к кому обратиться, поскольку патентованные борцы против системы сами являются ее частью, нередко — самой коррумпированной и бессовестной. Однако эскалация начинает происходить стихийно, подогреваемая гневом и фрустрацией масс, которые уже невозможно удерживать в рамках ролей, отводимых им в спектакле. Чем более открытыми и наглыми являются нарушения гражданских и социальных прав, тем более радикальными становятся протесты. Эта инерция протеста начинает захватывать отдельных представителей системы, готовых рискнуть своим положением ради новых открывающихся возможностей или просто смертельно уставших от своих ролей в бесконечном и бессмысленном спектакле, а деятели, которые много лет пребывали на обочине политического процесса, оставаясь внутрисистемными маргиналами, неожиданно превращаются в лидеров массовых движений, политиков первого ряда.

Улица заменяет парламентскую трибуну не потому, что массы недовольных не желают голосовать или участвовать в официальных дебатах, а потому, что они туда не допущены, их права и

воля блокированы элитным сговором. В свою очередь, на рост протестных движений система отвечает репрессивными методами и обвиняет сопротивляющихся в неуважении к демократическим процедурам, от которых сама же этих людей отстранила. Типичными примерами подобных ситуаций могут быть протесты против нарушения избирательных прав в США или против Трудового кодекса во Франции весной 2016 г. В обоих случаях официальные круги открыто и демонстративно нарушали демократические процедуры — закрывали участки для голосования, вычеркивали людей из списков избирателей, фальсифицировали итоги выборов или, как во Франции, проводили законодательство в обход парламента. Но судебные инстанции на это не реагировали или реагировали крайне вяло, результаты подтасованного голосования оставались в силе даже после того, как нарушения были признаны, а законодательство, принятое в обход демократической процедуры, вступало в силу. Не удивительно, что подобная ситуация подогревала гнев и радикализировала протест, после чего официальная пресса обвиняла недовольных в «насилии» и «нарушении демократических норм». Врагами демократии представляли не тех, кто откровенно надругался над правами граждан, а самих граждан, добивающихся восстановления своих прав.

На протяжении большей части периода, последовавшего за распадом СССР, основные усилия левой мысли были направлены именно на поиски наиболее эффективных моделей идейной адаптации к неолиберализму, выступавшему в качестве непреодолимой «объективности», изменение которой может произойти лишь в виртуальном мире культурных символов или в заоблачных высях интеллектуальной утопии, но никак не в сфере политического действия и *борьбы за власть*. Более того, сама идея борьбы за власть систематически и сознательно дискредитировалась как наследие авторитарной культуры прошлого, а классовая борьба из вопроса практической стратегии превращалась в источник ностальгических культурных образов, никак не связанных с политикой. Можно было, конечно, поддерживать рабочие забастовки и заявлять о солидарности с деятельностью профсоюзов, но все это сводилось к своего рода социально-правозащитной деятельности, полностью вписывающейся в логику неолиберализма. Социальная борьба свелась к *сопротивлению* эксцессам системы, утратив ориентацию на

преобразование системы, хотя бы даже и реформистское. Показательно, что именно слово «сопротивление», очень возвышенное и нагруженное ассоциациями с антифашистской борьбой времен Второй мировой войны, вошло в моду, оттеснив другие термины из лексики левых.

В 2016 г. британский марксист Алекс Каллиникос, обдумывая успех радикального левого популиста Джереми Корбина, неожиданно для многих возглавившего Лейбористскую партию, подчеркивал, что этот успех «не отменил классической дилеммы относительно реформы или революции». Каллиникос констатировал, что «подлинный тест для революционных социалистов состоит в том, в какой степени они способны объединиться со всеми, кто поддержал лейбористов во главе с Корбином»[7]. Проблема, стоящая перед левыми, состоит не в выборе между абстрактными концепциями «реформы» и «революции», а в том, что ни реформистское, ни революционное крыло движения в сложившейся исторической ситуации не могут обойтись друг без друга. Однако способны ли радикальные социалисты, постоянно призывающие к мобилизации сил и проведению всевозможных кампаний, выполнить свою часть общего дела, требующую в первую очередь не повторения красивых слов, а повседневной работы среди *реальных* масс, чьи взгляды, настроения, а главное, *объективные интересы* резко отличаются от того, что им приписывают леворадикальные идеологи?

Важнейший культурный урок сапатистского движения в Мексике 1990-х годов состоял в том, что, отправившись в глухомань штата Чьяпас, чтобы создать там «революционный очаг», молодые столичные марксисты обнаружили, насколько их представления о народе отличаются от действительного положения дел среди индейских общин. Субкоманданте Маркос и его товарищи, ставшие позднее лидерами и идеологами сапатистов, сделали из этого правильный вывод, начав учиться у тех, кого сами еще недавно собирались поучать. Однако урок сапатизма не был усвоен или, вернее, был истолкован в духе необходимости отказа от классической марксистской теории. Что, кстати, отразилось и на самих сапатистах, успехи которых оказались весьма ограниченными. Поворот к реальному диалогу с массами

[7] International Socialism. 2016. No. 152. P. 5.

отнюдь не означает необходимости отказа от революционной традиции и теории, а лишь подтверждает, что теория должна постоянно развиваться на основе меняющегося практического опыта. Не означает это и того, что масса непременно права. Ее жизнь на каждом шагу оказывается пронизана предрассудками, коллективными иллюзиями и заблуждениями. Дело лишь в том, что простая констатация данного факта никоим образом не решает проблему.

Если столкновение с индейским, экзотическим «другим» заставляет белого интеллектуала признавать (как правило, в экзальтированно-избыточной форме) свою ограниченность, то столкновение с таким же точно «другим», только принадлежащим к своей собственной расе и нации, вызывает в лучшем случае недоумение, а чаще просто игнорируется. Беда современных европейских левых, однако, состоит в том, что они культурно и социально противостоят основной массе населения ничуть не меньше, чем мексиканские столичные интеллектуалы индейцам Чьяпаса. Увы, в отличие от субкоманданте Маркоса, они не отдают себе отчета в том, насколько оказались отчуждены от того самого класса, интересы которого собираются отстаивать.

Пассивное присутствие левых в неолиберальной системе сформировало определенную логику и культуру поведения, враждебную не только и не столько сложившемуся порядку, сколько стихийным низовым (и потому неизменно «неправильным») попыткам обиженных масс этот порядок изменить. Отказавшись от сталинистских претензий на «внешнее» и «авангардное» руководство массами, левая интеллигенция отнюдь не отказалась от привычки смотреть на массы свысока. Она лишь утратила к ним интерес. Если Антонио Грамши в 1930-е годы призывал к формированию слоя «органических интеллектуалов», неразрывно связанных с классом и выступающих своего рода медиумом и формулирующих на языке политики и культуры массовые интересы, то теперь торжествовал прямо противоположный принцип формирования новой интеллектуальной элиты, никоим образом, в отличие от времен большевистской революции, не претендующей на роль авангарда. Эта элита стояла над массами, не считая ни возможным, ни желательным вести эти массы за собой, воспитывать их или хотя бы интересоваться их мнением. Левая интеллектуальная элита обосновала

свою состоятельность и легитимность не через одобрение «необразованными» массами, а через признание со стороны таких же точно элит, только буржуазных.

Этот «новый оппортунизм», однако, вовсе не воспринимал себя как проявление умеренности, ибо его важнейшим идеологическим и культурным компонентом был радикальный дискурс, постоянная и яркая критика капитализма, но не направленная на его практическое *здесь и сейчас* преобразование. Таким образом радикализм великих заоблачных целей выступал не только оправданием самому банальному приспособленчеству, но и выглядел своего рода постоянным укором по адресу мелочно-прагматических масс, сталкивавшихся с повседневными неприятностями и заботами. Хуже того, многие из этих проблем — например, конкуренция местных и приезжих рабочих на рынке труда — объявлялись изначально несуществующими, а следовательно, недостойными того, чтобы задумываться о какой-либо стратегии, направленной на разрешение данного противоречия. Если проблема присутствует лишь в сознании недостаточно образованных рабочих, то и для ее решения достаточно распространения в обществе правильных лозунгов, публичного осуждения расизма и ксенофобии. Как при этом складываются между собой практические отношения рабочих, принадлежащих к разным этническим или религиозным общностям, не имеет никакого значения.

Разумеется, проблема не может быть сведена к поведению левых. Ведь любой модели поведения объективно противостоят различные альтернативы, пусть и менее выгодные в краткосрочной перспективе, но технически тоже возможные. Доминирование нового оппортунизма дополнялось реальной слабостью рабочего движения, вызванной социальными, технологическими и экономическими изменениями последних 15 лет XX в.

В условиях глобализированного капитализма, восторжествовавшего после краха Советского Союза, наемный труд в традиционных индустриальных странах терпел поражение за поражением. Перемещение производств подорвало привычную географию рабочего класса, а технологические изменения разрушили привычную социально-профессиональную структуру, причем не только в развитых странах Запада и в государствах, образовавшихся после развала СССР, но также в Азии и Латинской Америке. Новое географическое разделение тру-

да привело к тому, что работники, принадлежащие к разным профессиональным и квалификационным группам, оказались разделены еще и государственными границами. В старых развитых странах сохранялся спрос на высококвалифицированный труд, но база его воспроизводства постоянно сужалась, ибо значительная часть рабочих мест, требующих среднего уровня квалификации, переместилась в новые индустриальные страны, где, наоборот, крайне слабо был представлен наиболее квалифицированный (а потому и наиболее образованный и организованный) слой наемных работников. В то время как между рабочими средней и высокой квалификации усиливался географический разрыв, неквалифицированные работники и полупролетарии, не имеющие постоянного рабочего места и надежной специальности, оказывались наиболее мобильны, составляя все большую часть трудящегося населения во всех частях мира, включая богатые страны. Можно перенести за границу производство компьютеров, но невозможно таким же образом поступить с уборкой улиц или поджариванием гамбургеров. Зато можно привезти в богатую страну бедняков, которые будут выполнять эту работу за гроши. Низший слой наемных работников, мелких лавочников, полупролетариев тоже оказался разобщен прежде всего по этнонациональному признаку за счет массового использования труда иностранцев, которые, с одной стороны, не имели гражданских прав, а с другой — предлагали свою рабочую силу по заниженным ценам, подрывая позиции местного населения.

В результате этих процессов социальная структура общества становилась все более рыхлой и размытой. Классовые противоречия никуда не делись, более того, с каждым новым этапом развития неолиберализма они обострялись. Но объективное противостояние интересов труда и капитала отнюдь не означало автоматической консолидации трудящегося класса, укрепления его социальной структуры. Напротив, трудящиеся классы к началу XXI в. по своей структуре оказались куда слабее, куда менее интегрированными, чем за сто лет до того. Усиление классовых противоречий еще не создает автоматически условий для классовой политики, опирающейся на соответствующую низовую организацию, на *осознанные* интересы. Надо всем этим приходится работать. И господствующая среди левых идеология, культивировавшая идею «различий» вместо принципа

общности, культ «меньшинств» в противовес привычной демократии большинства, не только не помогала решить проблему, но, напротив, усугубляла ее.

Накапливавшийся протест так или иначе должен был получить выход наружу, выразить себя социально и политически. И неудивительно, что сплошь и рядом он проявился в формах, непривычных для традиционной политологии и тем более — для левых.

Протестные движения иногда маркировали себя как левые, иногда как правые, иногда вообще не способны были к самоидентификации. Они имели различную политическую траекторию. Но общим было то, что все эти движения в своей идеологической противоречивости (и порой невнятности) воспроизводили рыхлую и неустойчивую структуру общества. Объединяла их не идеология и, увы, не классовое сознание, а лишь нарастающее до ощущения полной непереносимости чувство — так жить больше нельзя.

Крушение неолиберализма массы осознали раньше и полнее, чем интеллектуалы и политики. Вернее даже, не осознали, а почувствовали. На своей шкуре.

Однако именно в этот момент перед левыми встал принципиальный выбор: *что является критерием солидарности — класс или культура?*

Более чем очевидно, что низы общества являются менее рафинированными, гораздо более склонными ко всевозможным предрассудкам, чем верхи. Значит ли это, что верные своей политической культуре левые должны предпочесть изысканную и облагороженную буржуазию массе невоспитанных, необразованных и неполиткорректных рабочих? Как ни удивительно это может показаться для людей, привыкших судить о политике на основе постоянно повторяемых ритуальных лозунгов, ответ значительной части левого движения оказался простым и самоочевидным — образованная и «цивилизованная» элита с ее «европейскими ценностями» должна быть защищена от «варварских» и «безответственных» масс, к этим ценностям, увы, равнодушным.

Данная ситуация повторялась снова и снова — когда вставал вопрос о народном восстании в Новороссии или о голосовании за выход Британии из Европейского союза, когда интеллектуалы в США уговаривали избирателей поддерживать кандидата

истеблишмента Хиллари Клинтон, чтобы не допустить победы популиста Дональда Трампа, или когда во Франции радикальные левые аналогичным образом призывали защитить разрушающих социальное государство социалистов от нападок Национального фронта, а затем дружно поддержали ставленника финансового капитала Эммануэля Макрона.

В действительности выбор был вполне классовым, хотя и прикрывался различными риторическими комбинациями, призванными скрыть противоречие между исходным пунктом теоретической критики буржуазного общества и финальным пунктом практической защиты существующего порядка вещей. Однако так или иначе очередной раскол левого движения произошел — менее зрелищно, но ничуть не менее остро, чем после начала Первой мировой войны и во время Русской революции 1917 г. Это уже не раскол между правым и левым крылом движения или между революционерами и реформистами. История ставит вопрос иначе, куда более практически. Политический выбор определяется не уровнем радикализма целей и уж точно не радикализмом слов.

Он определяется солидарностью. Поддержать массовое восстание против неолиберализма или защищать существующий прядок вещей, сознавая, что массы далеко не всегда ведомы самыми прогрессивными идеями и самыми добрыми эмоциями? Выбор не так однозначен, как может показаться на первый взгляд, ибо возмущение низов против извращенной формы либеральной демократии, воцарившейся в большинстве стран к началу XXI в., очень часто сопровождается ростом авторитарных настроений, потребностью в «сильной руке» и надеждами на «вождя», который далеко не обязательно поведет общество именно к новым вершинам свободы и прогресса.

Массовый протест, порожденный Великим кризисом, демократичен по сути, но не всегда по форме. Люди повсеместно хотят не только отстоять социальное государство, против которого были направлены неолиберальные реформы предшествовавших 25 лет, но и возвратить себе возможность распоряжаться собственной судьбой, и требуют уважения к правам большинства, но зачастую сами не знают, что будут делать дальше. В конечном счете угнетенное большинство наряду с другими узурпированными элитой правами требует вернуть себе и *право на ошибку*.

Любое массовое движение неоднородно, оно почти всегда включает самые разные, в том числе и авторитарные, реакционные элементы, а любое радикальное преобразование сопряжено с риском. Именно готовность принять риск перемен в конечном счете определяет выбор в пользу поддержки очередного восстания масс. И следовательно — в пользу Истории.

Попытки отстаивать обреченный порядок безнадежны. И представители «прогрессивной общественности», делающие своей целью его защиту, обречены потерпеть поражение вместе с ним — какими бы красивыми словами ни прикрывали они свои действия.

Однако солидарность с трудящимися массами не освобождает ни от моральной отвественности, ни от *обязанности* отстаивать собственное мнение, ни от необходимости, помогая движению, делать все, чтобы помочь ему избежать ошибок, которые будут тем более драматичными, чем более рыхлой, неоднородной и неустойчивой является его социальная база.

Те, кто принимают вызов Истории и воспринимают ее логику, далеко не всегда остаются победителями. Но они получают шанс.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru